

Содержание

1. Голосуй за Линдберга или за войну	9
2. Еврейский болтун	95
3. Шпионя за христианами	171
4. Обрубок	243
5. Впервые	301
6. Их страна	399
7. Личная война Уолтера Уинчелла	463
8. Дурные дни	563
9. Вечный страх	643
Постскриптум	709

Посвящается С.Ф.Р.

I

Июнь 1940 — октябрь 1940

Голосуй за Линдберга или за войну

Мои воспоминания о тех днях полны страха, неизбывного страха. Разумеется, у каждого мальчика свои кошмары, но вряд ли я вырос бы таким паникером, не будь тогда президентом Линдберг и сам я не происходи из еврейской семьи.

Первым шоком стало известие о выдвижении кандидатом в президенты от Республиканской партии знаменитого на весь мир летчика Чарлза Э. Линдберга. Произошло это в июне 1940-го на съезде республиканцев в Филадельфии — моему отцу стукнуло тридцать девять; страхового агента без высшего образования, он зарабатывал чуть меньше пятидесяти долларов в неделю — как раз на то, чтобы вовремя погасить основные счета, плюс самая малость сверху. Моей матери — которой ко-

гда-то хотелось стать учительницей, но не нашлось денег на колледж, и поэтому по окончании школы она, живя у родителей, устроилась секретаршей в какую-то контору, — а затем, уже выйдя замуж и родив двух сыновей, на протяжении всех лет Великой депрессии не давала нам скатиться в нищету или просто почувствовать себя бедняками, для чего ей приходилось растягивать отцовскую пятничную получку на всю неделю и вести хозяйство, экономя на любой мелочи, — моей матери было тридцать шесть. Моему брату Сэнди — ученику седьмого класса, успевшему проявить выдающиеся способности к рисованию, — исполнилось двенадцать, а мне — третьеклашке, пошедшему в школу на полгода раньше положенного, и начинающему филателисту, вдохновленному, как и миллионы детей по всей стране, примером прославленного коллекционера марок президента Рузвельта, — было семь.

Мы жили на втором этаже маленького — на две семьи с холостяцкой мансардой — деревянного дома с кирпичным крыльцом под двускатным навесом, к этому прилагался крошечный дворик с живой изгородью из невысоких кустов. Вся улица, которую можно назвать и бульваром, была застроена точно такими же домиками. Здесь, на юго-западной окраине Ньюарка, строиться начали сразу после первой ми-

1. Голосуй за Линдберга или за войну

ровой (раньше тут были сельскохозяйственные угодья) — и, опьяненные ее победоносным окончанием, назвали с полдюжины улиц именами американских флотоводцев времен войны с Испанией, а местный кинотеатр окрестили «Рузвельтом» в честь шестияродного брата ФДР¹ и, не в последнюю очередь, двадцать шестого президента США. Наша улица — Саммит-авеню — находилась на вершине холма, хотя какие уж холмы в портовом городе: максимум сотня футов над уровнем моря — то есть соленого прилива, набегающего на берег с севера и востока, и глубоководной бухты еще восточнее, возле аэропорта, которая откомандировывает свои воды — и нефтеналивные суда на их поверхности — в сторону Нью-Йоркской бухты (для чего им приходится обогнуть полуостров Байонн), где они, отсалютовав Статуе Свободы, выходят на стартовую черту перед отправлением в Атлантический океан. Поглядев на запад из дальнего окна нашей комнаты, порой, в хорошую погоду, можно было угадать темные очертания лесистых Уотчунгс — невысокой горной гряды с расположенными по склонам и возле них большими усадьбами и богатыми немногочисленными пригородными поселками. Здесь — милях так в восьми от родного дома — для нас проходил

¹ Здесь и далее: Франклин Делано Рузвельт.

край Ойкумены. К югу был расположен фабричный городок Хиллсайд по преимуществу с белым нееврейским населением. Хиллсайд, однако, входил в округ Юнион, штат Нью-Джерси, — и это и впрямь был совершенно другой Нью-Джерси.

В 1940-м мы считали себя счастливой семьей. Мои родители были весьма общительными людьми, заводя знакомства, перерастающие в дружбу домами, среди коллег и сослуживцев отца и товаров матери по родительскому комитету заново отстроенной школы на Ченселлор-авеню, в которую мы с братом ходили. Все они были евреями. Наши соседи или вели собственный бизнес, владея бакалеей, зеленой лавкой, а то и ювелирным магазинчиком, конфекციоном, мебельным магазином, заправкой или «Деликатесами» в нашем районе, или держали небольшие магазины инструментов и товаров промышленного назначения вдоль железнодорожной ветки Ньюарк — Ирвингтон, или, работая на свой страх и риск, занимались нехитрым ремеслом слесаря, электрика, маляра, котельщика, — или, наконец, подобно моему отцу, были, так сказать, пехотой большого бизнеса, то есть ежедневно отправлялись в путь по улицам города на своих двоих и, постучавшись в дверь, в самом выигрышном свете расписывали предла-

гаемые той или иной компанией товары и услуги. Еврейские доктора, адвокаты и те предприниматели, которым принадлежали крупные магазины в центре города, жили в одноэтажных особнячках по улицам, ответвляющимся от Ченселлор-авеню на восточном склоне холма, поближе к тенистому лесопарку Виквахик площадью в триста акров — с его деревьями и полянами, с озером для катания на лодках, с лужайкой для игры в гольф, с дорожкой для рысаков, — лесопарк и отделял весь наш район от заводов и верфей, тянувшихся вдоль двадцать седьмой автотрассы и насыпи Пенсильванской железной дороги на восток — и дальше, опять-таки на восток, мимо разрастающегося аэропорта, — и наконец на самый восточный край США — к докам и причалам бухты Ньюарк, куда привозят товары со всего света. В западном конце Виквахика, где мы и жили, — и рядом с лесопарком, и все же в стороне от него, — порой поселялся какой-нибудь преподаватель или фармацевт, но вообще-то людей с университетским образованием среди наших ближайших соседей не водилось, не говоря уж о том, что среди них не было владельцев и топ-менеджеров серьезных фирм. Здесь мужчины работали по пятьдесят, по шестьдесят, даже по семьдесят, а то и больше ча-

сов в неделю. Женщины же и вовсе не знали ни сна, ни отдыха: круглыми сутками хлопоча по хозяйству и почти не прибегая к помощи современной на тот момент техники, они стирали и гладили сорочки, штопали носки, подшивали воротнички, пришивали пуговицы, присыпали нафталином шерстяную одежду, обтирали мебель, подметали и мыли полы, мыли окна, раковины, ванны и унитазы, топили печки, закатывали консервы, ухаживали за больными, ходили за продуктами, готовили еду и кормили ею родных, наводили порядок в шкафах и буфетах, проверяли, не облупилась ли где-нибудь краска и не нуждается ли какая-нибудь вещь в незамедлительной починке, выкладывали своим мужчинам все необходимое для проведения религиозного ритуала, платили по счетам и держали в конторских книгах всю домашнюю бухгалтерию, одновременно и беспрестанно уделяя внимание здоровью и самочувствию собственных детей, состоянию их одежды, успехам в школе, питанию, поведению, дням рождения, дисциплине и морали. Кое-кто из них плечом к плечу с мужем работал в семейной лавке на одной из расположенных по соседству улиц, а в вечернее время и по субботам им помогали старшие дети, доставляя на дом заказы, стоя за стойкой или занимаясь уборкой.

1. Голосуй за Линдберга или за войну

Именно трудолюбие отличало и выделяло наших соседей куда больше, чем вероисповедание. Никто в округе не носил бороду, не одевался в подчеркнуто ветхозаветном стиле, не покрывал голову кипой ни на улице, ни в тех домах, куда я забегал в гости к сверстнику — хозяйскому сыну. Взрослые не выглядели чужаками, не говоря уж о том, что мало кому пришло бы в голову приглядеться к ним именно в этом смысле, и, не считая двух-трех старых лавочников, вроде портного или хозяина кошерной мясной, и престарелых или беспомощных дедушек и бабушек, поневоле нашедших приют под кровом у сына или дочери, никто в наших местах не говорил с еврейским акцентом. В 1940-м два поколения евреев — отцы и дети, обитающие в юго-западном углу самого большого города во всем Нью-Джерси, — говорили на американском английском скорее как англосаксы где-нибудь в Алтуне или в Бинггэмптоне, нежели как наши еврейские сородичи за Гудзоном, с нью-йоркских Пяти углов. Буквы еврейского алфавита красовались в витрине кошерной мясной и над входами в здешние крошечные синагоги, но нигде больше. Кроме, конечно, кладбища. И у тебя просто не было шансов наткнуться на них — отовсюду глазели буквы латинского алфавита, и говорили все по-английски

как на повседневные темы, так и на выпренно-возвышенные. В газетном киоске у входа в бакалею на каждого покупателя «Форвертс» — ежедневной газеты на языке идиш — приходилось по десять покупателей «Рэйсинг-форм».

Израиля еще не существовало, шесть миллионов европейских евреев еще не были уничтожены, и точное местоположение находящейся явно за тридевять земель Палестины (после разгрома союзниками в 1918-м Османской империи ее ближневосточные колонии подпали под британский мандат) было для меня тайной. Когда — примерно раз в пару месяцев и непременно вечером — к нам в дом стучался бородатый чужак, к темени которого словно навеки приклеилась кипа, и на ломаном английском просил денег в пользу еврейского национального очага, ныне возрождаемого в Палестине, я, вовсе не будучи таким уж несмышленным, просто не понимал, чего ему от нас надо. Отец с матерью давали мне или Сэнди несколько монет, чтобы мы опустили их в кружку для пожертвований, — но поступали они так скорее по доброте душевной и чтобы не обидеть отказом старого человека, думал я, которому год от году все труднее взять в толк, что уже три поколения нашей семьи живут здесь и считают Америку своей родиной.

Каждое утро в школе я салютовал американскому флагу. Вместе с одноклассниками я разучивал песни о том, какая у нас замечательная страна. Я чтил все национальные праздники и обычаи — фейерверк в День независимости, индюшка в День благодарения, два матча один за другим в День поминовения. Америка была моей родиной.

А потом республиканцы выдвинули Линдберга — и все изменилось.

На протяжении целого десятилетия Линдберга в нашей округе, как и везде, считали героем. Его тридцатитрехполовиночасовой беспосадочный перелет в одиночку с Лонг-Айленда в Париж на борту крошечного моноплана «Дух Сент-Луиса», вдохновив ко всему, произошел в тот же весенний день 1927 года, когда моя мать поняла, что беременна моим старшим братом. В результате чего молодой авиатор, подвиг которого потряс Америку и весь мир и послужил залогом невообразимо великого будущего для всего воздухоплавания, вошел, заняв особое место, в пантеон семейных преданий, из которого каждый ребенок складывает свою связную мифологию. Загадка беременности и героизм Линдберга соединились и срифмовались в сознании таким образом, что отблеск некоей божественности упал и на мою собственную мать, раз уж зачатие

ею первого сына оказалось проманифестировано событием столь вселенского значения. Позже Сэнди запечатлеет это совпадение на рисунке, посвященном обеим историям сразу. На этом рисунке, сделанном в девятилетнем возрасте с размашистой приблизительностью советских плакатов, Сэнди нарисовал мать вдали от дома, в ликующей толпе на углу Брод и Маркет-стрит. Стройная темноволосая женщина двадцати трех лет с улыбкой до ушей, она словно ничего не видит вокруг, стоя в своем цветастом кухонном фартуке на перекрестке двух улиц с самым оживленным движением во всем городе, и прикладывает одну руку к фартуку на животе, еще, конечно, ни в коей мере не выпирающему, тогда как другой рукой она — одна-единственная во всей толпе — указывает в небо на «Дух Сент-Луиса», проплывающий над Ньюарком как раз в тот миг, когда она понимает, что ей уготован триумф ничуть не меньший, чем Линдбергу, пусть и будет он заключаться не в беспосадочном перелете, а в рождении Сэнфорда Рота.

Сэнди было четыре, а я, Филип, еще не появился на свет, когда, в марте 1932-го, у Чарлза Линдберга и его жены Энн Морроу похитили их собственного первенца, рождение которого за двадцать месяцев до этого стало в США поводом для всенарод-

ного ликования. Мальчика похитили из их нового дома, уединенно высящегося в сельской местности под Хоупвэллом, штат Нью-Джерси. Примерно через десять недель разложившееся тело младенца было случайно обнаружено в лесу на расстоянии в пару миль от особняка Линдбергов. Ребенка то ли убили, то ли случайно умертвили уже после того, как вынули из кровати и прямо в пеленках вынесли во тьме из дому через окно комнаты кормилицы на втором этаже и далее — по приставной лестнице, пока сама кормилица и госпожа Линдберг занимались какими-то всегдашними вечерними хлопотами в другой части дома. Процесс по делу о похищении и убийстве ребенка, состоявшийся позднее, завершился в феврале 1935-го осуждением некоего Бруно Гауптмана — тридцатипятилетнего немца, в прошлом рецидивиста, жившего вдвоем с женой, тоже немкой, в Бронксе, — и прежнее восхищение отвагой летчика, совершившего первый трансатлантический перелет, многократно усиленное всеобщим сочувствием, превратило Линдберга воистину в титана-мученика наподобие самого Линкольна.

После суда чета Линдбергов покинула США, надеясь временным пребыванием на чужбине избавиться от какой бы то ни было опасности родившегося у них меж тем второго ребенка и вместе с тем ища

столь спасительного в сложившихся условиях уединения. Семья поселилась в английской деревушке, откуда Линдберг как частное лицо предпринял ряд поездок в нацистскую Германию, вследствие чего превратился для большинства американских евреев в жуткого негодяя. В ходе пяти визитов, знакомясь с величием возрождаемой в рейхе военной машины, он свел близкое знакомство с рейхсмаршалом авиации Герингом, был награжден знаками отличия самим Гитлером и публично заявил о глубочайшем почтении к фюреру, назвав Германию самой интересной в мире страной, а ее вождя — великим человеком. И такой интерес, и такое восхищение были им выказаны уже после введения Гитлером так называемых расовых законов 1935 года, лишивших немецких евреев политических, социальных и имущественных прав, аннулировав их германское гражданство и воспретив им браки с арийцами.

К тому времени как я пошел в школу, в 1938-м, имя Линдберга превратилось в нашем доме в такой же жупел, как воскресные радиопроповеди преподобного Кофлина — детройтского проповедника, издававшего экстремистски-правый еженедельник «Социальная справедливость», откровенно антисемитские высказывания которого возмущали буквально всех, кого затрагивали непосредственно, —

и это в ту пору, когда стране и людям и без того приходилось нелегко. В ноябре 1938-го — самого темного и зловещего года в восемнадцативековой истории европейского еврейства — по всей Германии прокатилась волна чудовищных погромов, спровоцированных нацистами. Это была так называемая Хрустальная ночь: синагоги оскверняли и разрушали, жилые дома и предприятия, принадлежащие евреям, громили; и, превратив эту ночь в предзнаменование немислимого и невозможно будущего, евреев тысячами изгоняли из своих домов и заключали в концентрационные лагеря. Но когда Линдбергу подсказали, что с оглядкой на столь беспрецедентную жестокость по отношению к жителям собственной страны, проявленную нацистами, ему следовало бы вернуть маршалу Герингу золотой крест, украшенный четырьмя свастиками, он отказался, сославшись на то, что публичный отказ от почетного ордена Германского орла «без особой на то надобности» оскорбил бы нацистское руководство.

Линдберг оказался первой из здравствующих американских знаменитостей, кого я научился ненавидеть, точь-в-точь как Рузвельт был первой знаменитостью, кого я научился любить, — и таким образом его выдвижение в кандидаты от республи-

канцев и предстоящий на выборах-1940 поединок с Рузвельтом оказались вдвойне окрашены для меня в личные тона: американский сын американских родителей, учащийся в американской школе в одном из городов Америки, я впервые понял — все, что я до сих пор воспринимал как данность, оказалось под сомнением и под угрозой.

Единственная сопоставимая угроза возникла где-то тринадцатью месяцами ранее, когда с учетом неизменно высоких продаж в худшие годы Великой депрессии моему отцу, работающему рядовым агентом в ньюаркском отделе «Метрополитен лайф», была предложена должность младшего менеджера по персоналу в городке Юнион, в шести милях к западу от нашего дома. О городке этом мне было известно лишь то, что там имеется автомобильный кинотеатр под навесом, где крутят фильмы даже под проливным дождем. В компании отца поставили в известность, что, приняв эту должность, ему надлежит вместе с семьей перебраться в Юнион. В качестве младшего менеджера отец должен был зарабатывать чуть ли не по семьдесят пять долларов в неделю, а во вполне обозримом будущем — и все сто; в 1939 году людям с нашими ожиданиями такие деньги казались просто сумасшедшими. А поскольку в силу Великой депрессии односемейные дома

в Юнионе продавались по демпинговым ценам всего в пару тысяч долларов, отец мог рассчитывать на реализацию заветной мечты человека, выросшего в бедной семье на съемной квартире в Нью-арке, — стать настоящим американским домовладельцем. «Гордость собственника» — таково было его любимое выражение, передающее идею, конкретную, как хлеб для кормильца семьи, одержимого не стремлением к карьере или тягой к роскоши, а элементарной добычей насущно необходимого.

Однако же побочным обстоятельством, с которым приходилось считаться, был тот факт, что в фабричном городке Юнионе, как и в Хиллсайде, жили белые неевреи, и, соответственно, отец почти наверняка оказался бы единственным евреем в конторе, в которой работают тридцать пять человек, мать — единственной еврейской домохозяйкой на всей улице, а мы с Сэнди — единственными еврейскими учениками в школе.

В ближайшую субботу, после того как отец получил столь лестное предложение, означающее прежде всего воплощение общесемейной сквозь годы Великой депрессии мечты о мало-мальской финансовой безопасности, — мы вчетвером после ланча отправились на разведку в Юнион. Но едва мы очутились там и принялись разъезжать по широким

улицам, застроенным двухэтажными домами, — не одинаковыми, отнюдь не похожими друг на друга, как капли воды, но тем не менее с каменным крыльцом под навесом, с подстриженным газоном, с обсаженной кустами аллеей и гаревой подъездной дорожкой к гаражу на одну машину каждый; крайне скромные строения, но все равно не чета нашей съемной квартире в доме на две семьи и куда больше смахивающие на белые домики из кинофильмов, воспевающих одноэтажную Америку, — едва мы очутились там, наше невинное желание влиться всей семьей в класс домовладельцев оказалось омрачено (что, впрочем, было в достаточной мере предсказуемо) мыслью о лимитах нееврейского (оно же христианское) милосердия. Моя неизменно бодрая мать ответила на вопрос мужа «Ну что, Бесс, как тебе тут?» со столь наигранным энтузиазмом, что даже мне, ребенку, было ясно, что она кривит душой. И во всей своей тогдашней малости я понимал почему. Наверняка она подумала, что наш дом все будут называть еврейским. И повторится та же история, что и в Элизабет.

Элизабет, штат Нью-Джерси, где мать выросла, проживая на втором этаже дома, в котором ее отец держал зеленую лавку, был промышленно-портовым городом примерно вчетверо меньше

Ньюарка, населенным в основном ирландцами, — ирландские рабочие и докеры, ирландские политики, по-ирландски интенсивная религиозная жизнь, вертящаяся вокруг довольно многочисленных католических церквей, — и хотя я никогда не слышал, чтобы она жаловалась на то, что ее в детстве и юности как-то травили, ей понадобилось выйти замуж и переехать в Ньюарк, попав тем самым в чисто еврейское окружение, чтобы обрести уверенность, достаточную для успешной карьеры в рамках родительского совета — сперва член бюро, потом вице-председатель, курирующий учреждение родительского совета в детском саду, и наконец — председатель. А став председателем совета и побывав в Трентоне на конференции по детскому церебральному параличу, мать предложила проводить ежегодно, 30 января — в день рождения президента Рузвельта, — благотворительный марш-концерт в пользу детей-инвалидов, — и на ее инициативу откликнулось большинство школ Ньюарка. Весной 1939-го она уже второй год успешно председательствовала в совете, будучи одержима прогрессивными идеями и неизменно поддерживая молодых учителей Ченселлора, когда тем хотелось ввести новые методики вроде «визуального образования», — и теперь ей, разумеется, было жаль отка-

зваться от всего, чем она была вправе гордиться как личными достижениями в роли жены и матери на Саммит-авеню. А если нам удастся купить дом здесь и перебраться в Юнион, представший сейчас перед нами в вешнем великолепии, не только ее собственный статус неизбежно сдуется и она вновь превратится в дочь еврейского зеленщика в католически-ирландском Элизабет, но и, хуже того, нам с Сэнди предстоит пройти через те же испытания, которые выпали в юности на ее долю.

Игнорируя тайное недовольство жены, отец делал все, чтобы воодушевить нас; он нахваливал чистоту и ухоженность здешних улиц, напоминал сыновьям о том, что, поселившись в одном из таких домов, каждый из них получит свою комнату с личным клозетом, растолковывал преимущества выплаты по кредиту перед взносом квартплаты, — и прервал этот импровизированный урок азов политэкономии только затем, чтобы, затормозив на красный свет, остановиться возле летнего кафе в конце квартала. Под сенью деревьев, листва которых уже вовсю зеленела, были расставлены зеленые раскладные столики, и в солнечное субботнее предвечерье официанты в накрахмаленных белых сорочках сновали туда и сюда, удерживая на весу подносы с бутылками, кружками и тарелками, тогда

как посетители — сплошь мужчины — и стар и млад, расположившись за столиками, курили сигареты, сигары и трубки и потягивали свои напитки из высоких бокалов и глиняных кружек. Звучала и музыка — наяривал коротышка-аккордеонист в бриджах и в гетрах и со здоровенным пером на шляпе.

— Сукины дети, — неожиданно выругался отец. — Нацистские ублюдки! — И тут зажегся зеленый, и мы поехали дальше — полюбоваться на здание конторы, в которой ему предоставляли шанс преодолеть собственный предел в пятьдесят долларов в неделю.

Брат, когда мы вернулись и уже отходили ко сну, объяснил мне, из-за чего отец вышел из себя настолько, что не постеснялся выругаться в присутствии собственных детей. Оказывается, развеселое летнее кафе в центре города называлось, на немецкий лад, «Биргартеном», «Биргартен» был как-то связан с Обществом немецко-американской дружбы, Общество, в свою очередь, было связано с Гитлером, а Гитлер — и это объяснять мне уже не требовалось — был неразрывно связан с гонениями на евреев.

Наслаждение антисемитизмом — вот что происходит в этой пивной. Я представил, что все на свете нацисты целыми днями вливают в себя жидкий

антисемитизм кружка за кружкой как панацею, как целебный бальзам, как средство от всех напастей.

Отцу пришлось взять отгул, чтобы съездить в Нью-Йорк, в головной офис фирмы, расположенный в небоскребе, верхнюю башню которого венчает огненный транспарант «Неугасимый свет», и сообщить начальству, что он отказывается от повышения, к которому долго и страстно стремился.

— Это моя вина, — сказала мать, когда он за обеденным столом поведал ей о разговоре, состоявшемся на восемнадцатом этаже дома номер один по Мэдисон-авеню.

— Ничья это не вина, — возразил отец. — Я ведь заранее сообщил тебе, что я собираюсь сказать ему, и сделал все точь-в-точь как спланировал. Парни, мы никуда не едем. Мы остаемся здесь.

— А он что? — спросила мать.

— Он меня выслушал.

— А потом?

— Встал и пожал мне руку.

— И ничего не сказал?

— Он сказал: «Желаю удачи, Рот!»

— Он на тебя рассердился.

— Хэтчер — джентльмен старой школы. Здоровенный гой шести футов росту. Выглядит как ки-

ноактер. Ему шестьдесят, а он в отличной форме. Вот такие ребята и правят миром, Бесс, — у них нет времени сердиться на такого, как я.

— Ну и что теперь? — спросила она, явно подразумевая, что ничего хорошего отцовский разговор с Хэтчером не сулит, а может обернуться и чем-нибудь скверным. И я, как мне кажется, вполне ее понял. «Никогда не отказывайся от работы — и ты с ней непременно справишься», — под таким девизом воспитывали нас и отец, и мать. Даже за обеденным столом отец не гнушался всегдашними назиданиями: «Если тебе предложат работу, соглашайся. Спросят: “Справишься?” Отвечай: “Конечно!” А к тому времени, как они сообразят, что ты ничего не умеешь, ты уже кое-чему научишься и работа останется за тобой по праву. И, как знать, не поймает ли ты тем самым удачу за хвост!» Но в Нью-Йорке он сам повел себя совершенно по-другому.

— А что скажет Босс? — спросила мать. Боссом мы четверо называли отцовского непосредственного начальника из Ньюарка Сэма Петерфройнда. В те дни неафишируемого антисемитизма, когда еврейскую квоту в колледжах и профессиональных училищах стремились свести к минимуму, в больших корпорациях имела место беспримерная дискрими-

нация и, вдобавок ко всему, евреям было заказано членство в тысячах общественных организаций и институтов муниципального самоуправления, Петерфройнд оказался одним из первых — и весьма немногочисленных — евреев, кому удалось дослужиться в «Метрополитен лайф» до должности руководителя филиала. — Ведь он порекомендовал тебя на эту должность. И каково же будет ему сейчас?

— А знаешь, что он мне сказал, когда я вернулся? Что он мне сказал насчет юнионской конторы? Что там все пьяницы. И что об этом все знают. Он не сказал мне об этом, чтобы у меня не было предубеждений относительно предложения. Так вот, агенты там работают с утра часа два, а остальное время болтаются в забегаловках, если не в притонах. И меня туда собирались отправить новым начальником — еврея, — большой шишкой, на которого эти гои только и мечтали работать. Чтобы я их разыскивал по кабакам, чтобы напоминал им об их обязанностях, об их ответственности за своих жен и детей. Ох и полюбили бы они меня за это! И как бы про себя называли! Нет, уж лучше я останусь на прежнем месте. Для всех так будет лучше.

— А что если компания уволит тебя из-за того, что ты отказался от повышения?

— Милая, дело сделано, и хватит об этом.